

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

“ИЗ ГЛУБИН БЫТИЯ ДО ГОРЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ ДОСТАВАЯ...”

(О поэзии Николая Коновского)

“Но попадаются глубины, // В которых сразу тонет взгляд, // Не достигая половины // Той бездны, где слова молчат”. Так прозорливо и кратко русский классик Юрий Кузнецов охарактеризовал лучшее, что ему пришлось читать в современной русской поэзии. На мой взгляд, относится эта характеристика и к стихам Николая Коновского – глубокого и тонкого лирика, лауреата премии Александрo-Невской лавры им. св. кн. Александра Невского, верного последователя самых плодоносных ветвей русской поэзии – “любомудров” и “тихой лирики” – Ф. Тютчева, Ф. Глинки, А. Фета, П. Вяземского, А. Хомякова, Н. Рубцова, А. Прасолова... Из напряжённой тишины “бездны, где слова молчат” наплывает на читателя со страниц книг Николая Коновского среднерусская равнина – безмолвием, веяньем дыхания, светом, мерцанием, ветром, шумом крон, глубиной веков и бесконечной, не вмещающейся в душу ширью: “Над равниною русской, как веющий ветер – века, // Жаворонок, как солнце певучее, в небе трепещет; // Да склоняется рожь, да тягуче и огненно блещет, // Напоённая светом, в полуденной дали река. // ...То ли гром снизойдёт, то ль в мятущихся дебрях дубрав, // Из кореньев ишсед, гул таинственный зашевелится, // Но превысит покой... Сон? Иль жизнь потаённая длится, // На великом просторе себя так и не осознав”. Русская равнина Николая Коновского живёт своей внутренней, обособленной от человека и одновременно распахнутой ему жизнью. Это огромное мыслящее пространство с глубинной памятью людей, веков, событий, существующее по своим законам и пребывающее в постоянной молитве, обращённой к Творцу. Современный человек, потомок предков-пахарей, безотрывно связанный с русской равниной, живёт между небом и землёй в пространстве огромной молитвы-мысли, огромного многовекового разговора, простирающегося от земли до небес:

*Завтра снова косить, и сушить, и собирать, и полоть —
Утомилась душа, и река двигать воды устала.
И, тревожно-тяжка, отдыхает горящая плоть
На высоком, пахучем, безгрешном одре сеновала.*

*Тусклым беглым огнём рассекая тяжёлую высь,
На живое мгновенье зарница блеснёт огневая, —*

*И, Вселенной страшась, дерзновенно смиряется мысль,
Из глубин бытия до горящей звезды доставая.*

Внешне Николая Коновского трудно заподозрить в особой привязанности к фольклору — поэтика его явно тяготеет к Тютчеву и Фету, — но внутренняя космогония его поэтического мира глубоко народна и близка, скорее, космогонии Клюева, конкретнее — духовных стихов, в которых человек всегда существует между живым Небом, живым космосом и живой землёй: “Мать земля — это, прежде всего, чёрное, рождающее лоно земли-кормилицы, матери пахаря, как об этом говорит постоянный её эпитет “мать — земля сырая”... Но ей же принадлежит и растительный покров, наброшенный на её лоно. Он сообщает её рождающей глубине одеяние софийной красоты... она же является хранительницей нравственного закона, — прежде всего, закона родовой жизни” (Г. Федотов. “Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам”). Русская равнина Н. Коновского — живое продолжение народной души, она определяет характер и обычаи живущего на ней народа, формирует его характер и постоянно участвует в его жизни: “Теплом и благостью дыша, // Глядится в медленные воды // Родная кроткая природа — // Народа русского душа”... “Слышишь ли во поле, в роще, // Заиндевелой уже, // Голос равнины продрогаей, // Равновеликий душе?..”

Этим глубоким единством, кровной соприродностью живущему на ней народу русская равнина Николая Коновского в чём-то напоминает *вещающий ландшафт* Льва Гумилёва, во многом определяющий национальный характер, культуру и мировоззрение порождённого им этноса. Но если у Льва Гумилёва это обезличенное природное пространство, то у Николая Коновского русская равнина — живая, думающая, любящая персонифицированная мать сыра земля русского фольклора. Голос матери-земли, её мысль, её молитва — диалог с тварным небом, небом-космосом: “Солнце, месяц, звёзды и зори — ближе к Богу: они происходят от Божия Лица... Греческое Православие знало персонификацию мира: царя-космоса, который изображается в короне под апостолами на иконе Пятидесятницы” (Г. Федотов. Там же). В пространстве этой огромной, простершейся от Неба до земли мысли всегда горит звёздный космос, а в нём — не только тютчевская — светящая из стихов почти всех крупных поэтов и возвещающая судьбу народа с особым присущим ему космизмом русская звезда: “Говоришь: всему виною — горе, // Но в России горе — не беда. // До небес, гляди, простерлось поле, // А над полем — русская звезда!.. // Здравствуй, поле, русское раздолье, // Дольний зной и холод высоты, // Двуединство воли и неволи, // Двуединство счастья и беды!”

Русскую природу Николай Коновской пишет подробно, во всех её движениях, проявлениях и состояниях. В чём-то он — последователь тех же “любомудров” и “тихих лириков”, в чём-то — последователь русских пейзажистов: Саврасова, Поленова, Левитана, Куинджи, Федотова, но, прежде всего, Михаила Нестерова. “Под веянье широколиственных глав — // Забыться в свечении полдня!.. // О, пышное великолепие трав — // Цветущая щедрость Господня! // Как будто бы дальние горы и лес, // Нависший над водною гладью, — // Весь мир поднебесный, простёртый окрест, // Пронизан Твоей благодатью!” Чарующий, бесконечно живой мир природы, сотворённый Творцом и отпавший от него, и мучительно стремится быть обожжённым, и, беспрерывно пребывая в мысли-молитве, горько переживает своё нынешнее состояние, и беспрестанно радуется бытию, в горечи грехопадения не переставая быть сущим: “В яви же или обмане, // Впрочем, — не все ли равно, — // Сердце в хмельном океане // Канет на самое дно... // Светится крона, ярится, // Как белопенный прибой... Дивная, не насладиться, // Не надышаться тобой!” (“Черёмуха”).

Между родной равниной, родным космосом и родной природой с их безбрежным напряжённым разговором от неба до земли — грешный человеческий мир, плавящийся в огромной мысли-любви. Николай Коновской — глубокий и трепетный лирик, умеющий задеть потаённые струны души и заставить их трепетать в ответном волнении. Если смотреть на вектор его поэтического развития от юности к зрелости, можно сказать, что это движение от Тютчева к Фету — от духа к душе, от философской лирики, воздействующей на ум и дух человека, к тончайшим лирическим движениям, трогающим душу

и сердце, к всеобъемлющей Любви Божьей, к совершенству которой всегда стремится любовь человеческая.

*Было всё — безгрозие и грозы,
Был обжитый непокоем дом,
Где встречали белые берёзы,
Три берёзы под твоим окном.*

*На каком-то неземном пределе,
В поздний вечер или поутру —
Как они плескались и шумели,
Как листвою стелились на ветру!*

*Как они незаходящим летом
В сердце, преисполненном тобой,
Влажным шумом и зелёным светом,
Певчей негой пеленали боль!..*

Есть ли для русского человека что-то более привычное, чем этот мгновенно узнаваемый пейзаж? На первый взгляд — здесь всё тривиально. Но как получается, что душа, подчиняясь властной волне лирического чувства, отзывается мгновенно, а тихий разговор с женщиной вырастает в сокровенный разговор о жизни каждого русского человека, мгновенно проникающий в сердце, в разговор о самом главном и родном, остаётся тайной поэта: “Из безмолвья выпадают лица. // Все нашёл, а счастье потерял... // Помнишь, как перед тобой излиться // Я берёзам передоверял?... // Холод века иссушает слёзы... // Но тревожным лишь забуду сном, — // Всё шумят высокие берёзы, // Три берёзы под твоим окном!”

Главные герои лирики Николая Коновского — две любящие души, мужчина и женщина — вечные Адам и Ева, живущие в огромном напряжении мысли-любви, струящейся между небом и землёй. “Поэтический мир Николая Коновского не назовёшь перенаселённым. Это мир человека, сознающего свою изначальную одинокость, но при этом ощущающего родство со всем миром” (Э. Анашкин. “Голос равнины продрогшей”. Сайт “День литературы”). Любовь у Коновского имеет и не имеет конкретного адресата — разговор с женщиной в стихах постоянно переходит за свои границы, перерастает во что-то иное. Видимо, виновато в этом стремящееся стать всеобъемлющим чувство любви, а три берёзы — символ Пресвятой Троицы и символ России — своим зелёным шумом только помогают бессловесно, безмолвно вылить любовь на весь мир, на всё пространство среднерусской равнины, невольное подражая огромному разговору-любви матери-земли и космоса-неба. Часто читаешь стихи и не понимаешь — о любви к природе это? о любви к женщине? о любви к миру? “Старинные сосны, старинный покой сторожа, // Застыли недвижно — и что им, заснеженным, снится? // И только одна во всём мире живая душа // Безмолвье тревожит — ах, малая эта синица! // Взлетит, непоседа, исчезнет, — хлопот полон рот, // И вновь замелькает в глуби ледяного просвета; // И льётся незримо, — не зная сама, что поёт // Во славу Господне-го незаходящего лета”.

“Мир, божественный в космогонии, освящённый кровью Христа и слезами Богородицы, весь пронизан Святым Духом или “святыми духами”, посланными Христом... Живущий в природе святой дух ощущается народом в дыхании воздуха, ветре и благовониях земли...” (Г. Федотов). И русская равнина, и тварный космос с русской звездой, и русская природа, и живущий на равнине человек во всех своих проявлениях стремятся к Богу и молятся Творцу соборной молитвой земли, космоса, природы и человека. Это уже другой, самый высокий, поднимающий мир из праха и рождающий в Духе разговор. Несмотря на то, что по своему мироощущению Николай Коновской во всех проявлениях — поэт очень русский, понятие “Россия” возникает у него именно в общей устремлённости тварного мира к Небу — это Святая Русь с пейзажами, близкими нестеровским, населёнными святыми, ангелами, религиозными философами, паломниками, каликами переходжими:

*И время само замедляет стремительный ход
Под кровом, где медленно-медленно-медленно служба плывёт
Дыханьем надмирным,
Где ветры поклоны за стенами истово бьют,
И кроткие сёстры хваленье Творцу воздают
Распевом старинным...*

Храм здесь – корона, венчающая русскую равнину: “Тоньше текучие звоны, // Ближе монашеский скит, // Где над рекой, как корона, // Оптина пустынь слепит”. “Имена светской политической географии перебиваются с географией религиозной, по которой Русь там, где истинная вера. Конечно, эта идеальная Русь имеет определённый исторический центр в Москве... это полное слияние Церкви и государства в народном сознании, при котором эпитет “святая”... прилагается к русской земле, по существу, относится к христианской Церкви... “И то было у нас на сырой земле, // На сырой земле, на святой Руси” (Г. Федотов). Только в Литургии русская равнина приобретает конкретные очертания России с её городами, историей и государственно-стью: “Туманится, слезится взор: // В распахнутости безначальной – // Какое небо и простор, // Сияющий простор пасхальный! // И на ладони вся Москва // В наитье голосов былинных!.. // Что там за дивные слова // Таятся в медных исполинах!..”; “О, леденящая нега, // Русской зимы волшебство: // Столько слепящего снега // Выпало на Рождество! //... Мира распахнутым схроном, // Преображающим явь, – // Храмов серебряным звоном // Встретил нас Переяславль”; “Крошатся дни. Мелеют реки. // Но верую: в грядущем веке // Предстанет – дивным бликом – мне // Спас яблочный: встаёт из праха // Россия; солнечная пахта // Звенит в небесной вышине!” Только Литургия делает народом насельников русской равнины. Малонаселённое поэтическое пространство в Святой Руси мгновенно обживается огромным многоголосым героем по имени “русский народ”. Это – один герой с одним Богом, одной Родиной, одной душой, одной молитвой и одной верой. Так молчаливая молящаяся многокилометровая очередь к мощам Святителя Николая Мирликийского, медленно движущаяся по улицам Москвы, в едином порыве и единой молитве на глазах изумлённого наблюдателя за несколько часов из толпы становится народом: “... Сколько русских лиц – // Без хищного вкрапления инородца! – // Давно не видел я; такой любви, // Живой взаимопомощи, заботы...”

Сам Николай Коновской в этом нестеровском пейзаже – отрок, подобно Варфоломею получивший дивный дар поэтического видения, невидимый слушатель Сергея Булгакова и Павла Флоренского, незаметно притаившийся в уголке “Философов”, один из многочисленных калек переходящих, бредущих по дорогам Святой Руси. Н. Коновской – и в реальности неутомимый паломник и поэтический летописец современной православной жизни. В стихах его постоянно возникают монастыри, праздники, лица не так давно ушедших от нас старцев. Это и оптинская старица Сепфора: “... Смиранный угол, где она сидела, // На палочку склонившись, озарялся // Каким-то тайным несказанным светом // И тонким ароматом благодати...”; и Николай Гурьянов “Отец // Гурьянов Николай благословил // На творчество, помазав пред иконой // Священным маслом Иерусалима...”, и архимандрит Кирилл Павлов, который, в противоположность Николаю Гурьянову, “... Сказал: “Что людям невозможно – // Возможно Богу то, и что стихи // Писать не надо – зряшное то дело...” Николай Коновской много занимается поэтическими переложениями святых отцов, русских святых, псалмов Давида. Одна из его поэтических книг так и называется “Келья”. Это вторая – если не первая и главная – грань его творчества, ибо из этой “кельи”, “поэтической пустыни” проистекают все удивительные качества Коновского-поэта – они стяжаются им в скромную меру мирской молитвы.

Поэтический мир Николая Коновского выплывает к нам из-за дверей “кельи” именно как продолжение молитвы – это мир тихий, светящийся, мерцающий, благоухающий, веющий. Чем дольше читаешь Н. Коновского, тем очевиднее: для того, чтобы разобраться, о чём он пишет, надо разобраться, как он пишет, поскольку особенности его поэтики и его тонкие тихие благо-

ухающие смыслы — это почти одно и то же. Мысль здесь порою — совсем не мысль. Образы — не образы. Мир зыбок, словно не приобрёл реальных очертаний и форм. Лексика, как сказал бы взыскательный зоил, временами — тяжеловата, временами — архаична. А читаешь — и оторваться нельзя! Из чего он пишет? Из бликов, веяний, шорохов, тишины. Вечное фетовское “Шёпот, робкое дыханье...”, вечное цветаевское: “Ах” с Эмпиреев и “ох” вдоль пахот, // И повинись, поэт, // Что ничего, кроме этих “ахов”, // “Охов” — у Музы нет”. “Безглагольность”, несказанность — совсем не бальмонтовского, а чисто коновского свойства, тютчевское “Мысль изреченная есть ложь”, подслушанное безмолвие, пытающееся сказать себя словом. Особенности эти, в разной мере присущие всей классической русской поэзии, — Божьи Дары, земные проявления Святого Духа, попытка вырваться за пределы земного слова, заговорить языками горного мира.

Интересны и точны в чём-то взаимно дополняющие друг друга высказывания о поэзии Н. Коновского Сергея Куняева и Владимира Кострова: “Когда я читаю книгу Николая Коновского “В отблеске горнем”... — пишет Сергей Куняев в статье “Мы сами — музыка и боль...” (“Наш современник”, 2018, № 6), — вспоминаю классическое стихотворение Евгения Боратынского: “Все мысль да мысль! Художник бедный слова! // О жрец её! Тебе забвенья нет; // Всё тут да тут, и человек, и свет, // И смерть, и жизнь, и правда без покрова”. И в стихах Коновского превалирует именно мысль. Он поэт, сдержанно думающий, сосредоточенный, стих его... сам по себе побуждает к спокойному созерцанию и неторопливому размышлению... жажда жизни превалирует в спокойных, по видимости, строках, когда красота земного мира, от которого тянется незримая вертикаль в мир горний, сама по себе служит спасением от ужасов земной жизни... И каждое явление жизни, запечатлённое точным и выверенным глазом, Коновской стремится уложить в течение мысли о человеческой судьбе, о мирозданье, о Боге...” Владимир Костров замечает: “Автор как бы тушует свою индивидуальность, выдвигая на первый план глас самой жизни, голос сияющей природы. Несомненно, на работу и стиль Н. Коновского решающее влияние оказал Ф. Тютчев. Зрительный и музыкальный ряд тяготеют к обобщению, более метафизическому, чем конкретно-философскому”. (Предисловие к книге Николая Коновского “Лирика”. М., 2018.) Мне кажется, что в двух этих равно справедливых высказываниях и кроется ключ к поэтическому миру Коновского. Верный последователь Тютчева и “любомудров”, Коновской по самой глубинной природе своей поэт мысли — напряжённой, глубокой, стремящейся объять мир от неба до земли. И всё же акта мышления в привычном понимании слова тут нет, как нет здесь и пушкинского гимна человеческому разуму, безоговорочного приятия солнца “бессмертного ума”. Коновской не производит мысль сам. Напряжённо думая, он слушает молчание, из которого рождается мысль, слушает мысли, существующие в природе вне его и без него. Мысль здесь сопряжена миру, она существует в нём, именно поэтому сам пейзаж, весь окружающий мир в его поэзии — мысль. Но мысль эта настолько инака человеку, настолько глубока, что для того чтобы её выразить, не хватает простых слов — тут уместны молчание, ощущение, настроение, мерцание, недосказанность, намёк. “Простор — суглинок да ковыль, // Да тучи низкие нависли... // И нет ни думы в нём, ни мысли, // Являющем собою — мысль”. “Представление о познании и всей великой многословности нашей духовной жизни, которое даётся нам Священным Писанием, совершенно несовместимо с интеллектуализмом, философской доктриной, утверждающей, что всякая действительность познаваема, и что доступна она лишь познавательной способности разума”, — так, следуя двухтысячелетней христианской традиции, замечает святитель Лука Войно-Ясенецкий (“Дух, Душа и Тело”).

Мысль рождается из безмолвия: “Сонного бора вещанье, // Птицы рассерженной крик... // Кто-то сказал, что молчанье — // Будущей жизни язык”. Из русской поэзии плывёт на нас названная и не названная, присущая ей тишина: “Молчи, скрывайся и таи...” (Ф. Тютчев), “Когда мечтательно я предан тишине...” (А. Фет), “Здесь тишина цветёт и движет // Тяжёлым кораблём души” (А. Блок), “Глубокая тишь. Безглагольность покоя...” (К. Бальмонт), “Обозвал тишину глухоманью, // Надругался над белым “молчи” (Н. Клюев). И всё же тишина, названная словом, — ещё не тишина. Настоящая тишина неназванной таится в самой ткани стиха. Так лебедь выплы-

ваает на серую гладь пруда: сначала плывёт тишина – осязаемая, густая, вещественная, а потом, изогнув шею, появляется царственная птица. Вокруг пруда громоздятся высоты, неистовствуют митинги, гудят машины, сменяются эпохи, но оглушающий шум сходящего с ума, а в данном контексте уместнее сказать – сходящего с тишины мира – этой тишины разрушить не может. Тут есть носитель тишины – лебедь. Так и Николай Коновской вслед за лучшими русскими поэтами – тишину несёт. Он копил её всю жизнь, собирал по крупицам, чтобы вложить в стихи и отдать нам: “Как лебедь дивный с высоты, // Где вечность торжествует, // Две бездны – неба и воды – // Своим крылом связует. // И мир, просвеченный до дна, – // Как затаил дыханье: // Так полнозвучна тишина! // Так глубоко молчанье!”

Светоносность – одно из глубинных свойств русской поэзии. Неизбежно вспоминается один из древнейших христианских гимнов: “Свете Тихий святых Славы Безсмертного Отца Небеснаго...” Сияние Христова растворено в русской жизни, русской природе, русской культуре. Русская поэзия – и гимн Нетварному Свету, и его сосуд. Таинственное сияние Божье кроется в самой глубине русского стиха. “Себя собою составляя, // Собою из себя сияя, // Ты свет, откуда свет истёк” (Г. Державин), “Спит земля в сиянье голубом...” (М. Лермонтов), “Сияньем хладным солнце блещет...” (Е. Боратынский), “Сияет солнце, воды блещут” (Ф. Тютчев). Русская поэзия второй половины двадцатого века явила светоносность по-новому. Это и светоносный Николай Рубцов, и Николай Заболоцкий, просвеченный *огнём, мерцающим в сосуде*, и Юрий Кузнецов с хлынувшим из его “Рая” ослепительным сиянием. Но ярче всех о таинственном Нетварном Свете, пронизывающем мир, написали, пожалуй, Николай Тряпкин (“Свет ты мой тихий, застенчивый свет! // Облачных стай пропадающий след. // Вечер не вечер, ни тьмы, ни огня. // Молча стою у закатного дня”) и забытый в последнее время один из интереснейших поэтов конца XX столетия Геннадий Ступин (“Свет мой безмерный, свет мой бессмертный, // Льющийся тихо и быстро летящий, // В ведро прямой, а в ненастье неверный, // Мёдом целящий, стрелой разящий”). Стихи Коновского – прямое продолжение этой традиции: “Свет нарождается, безрешит едва на востоке. // В горнице убранной – тишь, забыть и потёмки. // Не шелохнётся к окну подступившее поле. // Сухо-старательно мышь заскребётся в подполье... // Оборони этот мир, – роковой и блаженный, // Свете таинственный, сладостный, неизреченный...” Но светоносность тоже, прежде всего, несказанна, она бессловесно кроется в самой глубине стиха. У Коновского сияет вода, сияет листва, сияет воздух, и сияние это ясно чувствуется, хотя о нём не говорится. Я не применяла бы к этому явлению понятия суггестивности – дело тут совсем не во внушении: читатель ощущает свет именно потому, что свет в стихах есть. Следуя традиции русских иконописцев, Коновской пишет “на свету”.

И ещё – запах, запах! В стихах Николая Коновского постоянно присутствуют запахи! То полынь, то чабрец, то дурманящая липа. Русская поэзия благоуханна. “Жарче роз благоуханье, // Резче голос стрекозы...” (Ф. Тютчев), “Две капли брызнули в стекло, // От лип душистым мёдом тянет...” (А. Фет), “Наш аромат смолист и едок, // Мы освежительней зимы” (Н. Клюев), “Пахнет яблоком и мёдом // По церквам твой кроткий Спас” (С. Есенин), “Крепки, желтоволосы дети, // Тяжёлый мёд расплёскан в лете...” (П. Васильев). Неизреченное благоухание – один из языков Бога. Бог говорит с миром благоуханием – и мир отвечает Богу запахами. “Благоухание цветов – это фимиам Богу” (Св. Лука Войно-Ясенецкий). Мир Коновского переполнен запахами: “Солнце палящее. В царственной девственной сини // Время теряется и очертания гор. // Горькой усладою – запахом крымской полыни – // Воздух напитан и весь поднебесный простор...”; “Нежно – до изменоженья! // – Пахнет на взгорках чабрец...”; “В воздухе дело к ненастью. // Молнии брызнул изгиб. // Сердце наполнено страстью // Юных дурманящих лип”; “Так же смеркается запад, // Так же, вне горя и лет, // Льётся божественный запах, // Пахнет божественный свет”.

Интересно, что при всей точности стиха, размытый, стремящийся к “безвидности” мир Коновского приобретает очертания именно на пути от Тютчева к Фету, от мысли к любви. Будто в оптике фокус навели – в лирике последних лет мир становится вещным, образным, живописным, он проявляется к бытию не в духе, а в душе, не в мысли, а в любви – так замысел Бо-

жий обретает плоть и способность к полнокровной жизни именно в Божественной Любви. “Келья” же, молитва расширяют мировосприятие поэта и неуклонно возвращают его в лоно русской поэтической традиции, кровно связанной с Православием, где для каждого творца важна не внешняя красота, но “огонь, мерцающий в сосуде” (Н. Заболоцкий), где перед каждым поэтом стоит сверхзадача выйти за грань познаваемого, увидеть в творении Божьем отблеск Неба, преодолеть немую косность земного слова, трагическую замкнутость человеческого грехопадения, попытаться заговорить на языках горнего мира.

На русской равнине Николая Коновского, в “келье-пустыни” цветёт сад. “Красота пустыни безгрешна... она сродни ангельскому миру... Недаром пустыня и отвечает “Архангельским гласом”. Святая красота, утешая путника, настраивает на тихие, светлые думы: “Есть частые древа – // Со мной будет думу думать... // Прилетят птицы райския // Станут распевати” (Г. Федотов). Безгрешная красота цветущей пустыни в народных стихах – это безгрешная красота Эдемского сада. В мировой символике сад – символ Христа, Богородицы, Небесного Рая, цветущего земного сада-кельи, в котором возделываются человеческие души. Вслед за богатейшей мировой поэтической традицией русская поэзия (особенно поэзия Серебряного века) наплывает на читателя бесчисленными цветущими садами: “Не доносятся жизни проклятья // В этот сад, обнесённый стеной, // В синем сумраке белое платье // За решёткой мелькает резной...” (А. Блок). “Он идёт путём жемчужным // По садам береговым, // Люди заняты ненужным, // Люди заняты земным” (Н. Гумилёв). “Крона играла цветами. Они волновали // Красным, оранжевым, жёлтым отливом в начале, // А фиолетовым, синим, зелёным – потом. // Каждый узор выступал то цветком, то плодом. // Дерево познания – таинственный ключ мироздания!” (Ю. Кузнецов). Название поэтического цикла Николая Коновского “Обрезка плодовых деревьев весной”, явно взятое из тривиального справочника садовода-любителя, отсылает к забредшему на продрогшую среднерусскую равнину и мгновенно обрусевшему Вергилию: “Вот что ещё: какие б кусты на полях ни сажал ты, // Больше навоза клади да прикрой хорошенько землёю...” (Вергилий “Георгики”. Пер. С. Шервинского). Диву даёшься, как хорошо Вергилий приживается на народных кормилицах – оставшихся от советской власти шести дачных сотках с ветхим дачным домишкой, садиком, теплицей и тремя вечными берёзами под окном. Вергилий в “Божественной комедии” – проводник Данта по аду и чистилищу. Вход в рай, к небесной Розе – месту пребывания Создателя, Богородицы и блаженных – ему как язычнику запрещён. Но и речь ведь – о земной келье-пустыни. Мерные античные ритмы, звучащие в стихах Коновского, неожиданно отзываются родным в строках о русских саврасовских грачах: “Земля обнажилась от всюду лежавшего снега // (в тени за сараем осталась лишь мерзлая глыба); // И первые гости – // Грачи прилетели, – на кронах, // Пока ещё голых, // Они хлопотливо расселись...” Тайна возделывания сада – тайна кельи, молитвы, возделывания человеческой души. О ней говорится иносказательно: “Важен подбор инструментов для должной обрезки: // Будем работать садовым ножом заострённым; // Можно работать и острой пилою садовой... // Так или иначе, следует, выбрав, отсечь все // Ветки большие, нежизнеспособные, даже // Те, что широко плодоносящую крону // Нам заглушают и портят...” С неизбежными скептиками, которые назовут этот цикл Николая Коновского стилизацией, не соглашусь: на мой взгляд, это удивительно ёмкое смысловое попадание в самое сердце мировой поэтической традиции. “В русском коробе, в эллинской вазе, // Брезжат сполохи, плюсный щит, // И сапфир самоедского князя // На халдейском тюрбане горит” (Н. Клюев). Да и античный гекзаметр воистину соприроден русской равнине. Широкий, привольный, неспешный, как русские дали. Гекзаметр – давно русский. Я бы сказала, со времён Гомера, но пусть будет – со времён Гнедича. Точности ради замечу, что у Коновского стихотворения написаны всё же не гекзаметром, а пентаметром, вернее, соответствующим ему в русском языке пятистопным дактилем. Но всё ещё впереди. Не мешайте нашей всемирной отзывчивости!

А поэтическое повествование подходит к своей высшей точке:

*Господи Боже,
Ведь есть и над нами Садовник,
Зрящий с недреманной ревностью за чистотой,
Плодоношением Им насаждённого сада.
Далее — даже подумать и вымолвить страшно...*

В Евангелии от Иоанна Мария Магдалина утром приходит ко гробу Господа и не узнает стоящего за её спиной Христа: “Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне...” Общепринятое в мировой христианской традиции обращение к Христу “Божественный Садовник” происходит из этих слов – Вседержитель, Пантократор, возделыватель человеческих душ, насадивший все сады мира и правящий ими. И душа человека, и окружающий мир, чтобы вернуться в Эдемский сад, должны уподобиться этому саду, подвергнуться возделыванию, покориться Божественному Садовнику.

Но земной человек не может вечно жить в пустыни. Как и герой “Соловьиного сада”, лирический герой Николая Коновского, заслышав призывный рокот прибоя, выходит навстречу распахнутой земной жизни: “Пусть укрыла от дольного горя // Утонувшая в розах стена, – // Заглушить рокотание моря // Соловьиная песнь не вольна!” (А. Блок). Божий мир после кельи-сада пьянит, как вино. Невольно вспоминается “Одиссея” Гомера: “Остров есть Крит посреди виноцветного моря...” Только у Коновского не Крит, а Крым. Вокруг давно православной Тавриды, совсем недавно вернувшейся в родную Россию, пенится виноцветным прибоем море, даруя хмель бытия, хмель поэзии и хмель любви. О пещерных винных подвалах Инкермана Коновской пишет по-гомеровски подробно и вещно: “Замру в изумленье, окуну лишь взглядом подвалы, – // Как тут же с тобой подружиться спешит “Севастополь”, // Мускат “Инкерман”, “Бастардо”, “Совиньон”, “Ркацители”...” Символика вина здесь античная, языческая: воспоминание о священном безумии Диониса, о хмеле солнечных лоз Аполлона: “Порой громыхало, – там кто-то небес синеву // Рвал молний клинками, и виделись, как наяву, // Шторма Айвазовского, слышались строфы Гомера; // Был грот знаменитый и хрупкая тонкость стекла, // В которую медленно, переливаясь, текла // Янтарного цвета, со вкусом ореха, мадера”.

Но море темнеет, и цвет вина уже напоминает цвет крови. Над морскими волнами у Памятника затопленным кораблям в Севастополе торжественно звучит совсем другой – трагически горький список: “Пилад”... “Сизополь”... “Гавриил”... // “Мессемврия”... “Селафиил”... // О, эта бесконечность // Защитников родной земли, // что не в морскую глубину ушли, // А в воинскую вечность!” Наше море напоено человеческой кровью. И список кораблей, ушедших на морское дно в боях за Россию, куда поболее гомеровского. Но всё грешное и тленное давно преодолено Христом. Вода в земном сосуде океан-моря, как в Кане Галилейской, давно превращена в вино – символ Крови Христовой. Драгоценная Кровь Христа вином Причастия течёт в жилах мира и в морских волнах. “Очищение русской земли, её космоургическое воссоздание... совершается путём утверждения истинной веры... “Богу молись за синё море” (Г. Федотов). Да, за синё Чёрное море, поглотившее столько русских героев и кораблей, необходимо молиться. Греческая языческая Таврида давно искуплена правильной верой: “...море... первоначально связано со святым Климентом. Память о греческой Корсуни и о мощах святого Климента, папы Римского, обретенных на дне морском и высоко чтимых в Киевской Руси, лежит в основе этой дедикации. “Окиян-море всем морям мати... // Что во той во церкви во соборная // Почивают мощи Папы Римского, // Папы Римского, слава Клементьева”...” (Г. Федотов). Из глубины морской встаёт Инкерманский пещерный монастырь св. Климента с его потрясающим, происшедшим в прошедшие века чудом: “Громадное, // За пядью пядь, // В послухной мощи // Откатывалось море вспять, // Являя мощи. // Для страждущей Тавриды всей, – // Как свет во мраке... // И вновь скрывало их в своей // Бездонной раке...” Море, сомкнувшееся над русскими кораблями, раскрывает свои глубины перед святым, напоминая о том, что когда-то по воле Христа эти пучины разомкнутся вновь, чтобы под-

нять с морского дна живыми всех утонувших героев, все погибшие в неравных боях корабли.

Но пока мир лежит во грехе, в хмеле бытия всегда есть капля горечи. “Это мгновенное благословенное лето, // Прикосновенье прощальное влажной щеки!.. // Слышно, как плачет бессильно и тягостно где-то // Горлица, горлинка – голос щемящей тоски... // Тайна бесстрастная, чья-то судьбина чужая, // Чем мне утешить тебя и в несчастье помочь?... // Мукой отчаянья сердце мое надрывая, – // Горлица, горлинка спать не даёт мне всю ночь”. Есть эта капля горечи и в природе, и в земной любви. И опять, как всегда у Коновского, не поймёшь – к женщине? к природе? к миру? – обращено стихотворение. Но мерный рокот волн несёт успокоение и примирение: “Духом, врачующим ожесточенье и горе... // Ветер сгущается, гибкую клонит лозу. // Мир – словно вымер, и только бескрайнее море, // Вещее море шумит неустанно внизу”. Горькое усталое человеческое примирение с ударом волны о скалу, брызгами пены, невидимым прикосновением Сущего внезапно превращается в свободную песню нескончаемого благодарения. Бога? любимой? – огромной, как море, разлитой в мире Любви:

*За долгие годы боренья — спасибо тебе,
За кров, и тебя, и науку — спасибо судьбе,
По грани смертельной, на свет выводящей из мрака...
Волна изумрудная лижет горячий песок,
И я, благодарный, улёгся у сладостных ног,
У вечности вещей — большая незлая собака...*

В победной песне благодарения уходит извечное *memento mori*, превращаясь в открытую морскую даль, в песню жизни и воскрешения, в жизнеутверждающее цветаевское “Уже не *memento*, а просто – море!”. Море, по тёмным волнам которого, протягивая нам руку, вечно идёт Христос: “Вскипает море пеной, // Волной о берег бьёт... // Нет мрака – есть мгновенный // К сиянию переход... // На роковом просторе // В передраасветный час // Есть вечность, мы и море... // И милующий нас”.